

Последняя тетрадь

ИЗМЕНЧИВЫЕ
ТЕНИ

армы

Предметы культа

Даниил Гранин

**Последняя тетрадь.
Изменчивые тени**

«Издательство АСТ»

2018

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6я44

Гранин Д. А.

Последняя тетрадь. Изменчивые тени / Д. А. Гранин —
«Издательство АСТ», 2018 — (Предметы культа)

ISBN 978-5-17-110392-7

2019 год объявлен годом Даниила Александровича Гранина. Классик русской литературы. Солдат Великой Отечественной, с первых дней войны ушел в народное ополчение. Автор романов и повестей, ставших культовыми при его жизни, документальных сочинений, мемуарной прозы, «Блокадной книги» (совместно с Алесем Адамовичем). Лауреат российских и международных литературных премий и многих правительственных наград. В книге представлены его произведения «Изменчивые тени» и «Последняя тетрадь». «Пространство книги обширно и многообразно. Тут есть и веселые пассажи, и тонкие наблюдения над природой, и рассказы, размышления о любви, да и вообще о человеческих характерах, о парадоксальности человеческой натуры. Это пространство многообразно и разноуровнево по значению сюжетов, как и жизнь, на которую оглянулся Гранин» (Яков Гордин).

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6я44

ISBN 978-5-17-110392-7

© Гранин Д. А., 2018
© Издательство АСТ, 2018

Содержание

Яков Гордин	6
Изменчивые тени	12
Выигрыш	12
Спасибо № 1	28
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Даниил Александрович Гранин

Последняя тетрадь. Изменчивые тени

© Гранин Д.А., наследники
© Соколовская Н.Е., составление
© Гордин Я.А., предисловие
© Плотников В.Ф., фото
© ООО «Издательство АСТ»

Яков Гордин

Путь к себе – сквозь столетие

*Для меня грехи мои с годами стали неотступны.
Свои заслуги не вспоминаются, а вот угрызения совести покоя не
дают.*
Д.А. Гранин. «Последняя тетрадь»

*Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития,
а опыты для него не существуют.*
А.С. Пушкин. «Александр Радищев»

Эта книга являет нам особый, хотя и знакомый жанр. Не знаю, задумывался ли Даниил Александрович о жанровой особенности того, что публиковал в последние годы.

Он был человек начитанный и наверняка знал, что жанр «корпус фрагментов» существовал и до него. Классика жанра – «Опыты» Монтеня. Ближе к нам «Сад Эпикура» Анатоля Франса, знаменитый «Дневник» Жюль Ренара, который не только дневник. Совсем близко «Ни дня без строчки» Юрия Олеши. Хотя у каждого из них был свой сугубо индивидуальный замысел.

Был особый замысел и у Гранина. Ближе к концу книги, размышляя над стихотворением Пушкина «Не дорого ценю я громкие права», он резко проецирует сюжет и смысл стихотворения на себя: «Давно меня привлекало одно стихотворение Пушкина, удивительно оно ложилось на мою душу, на мою жизнь, ту, которую хотелось иметь... Пушкин пишет:

...Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать: для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...

Между тем меня всё время тянет написать отчет о проделанной мною жизни. Отчет кому? Пушкин имел в виду отчет кому-то. А мне вдруг захотелось „себе лишь самому“. Понять, какую жизнь я прожил, тот кусок, который ушел в прошлое. Считается, что прожитая жизнь становится ясной после смерти человека. Такой ясности я уже не получу. Но ведь понять при жизни, как она выглядит издали, как выглядят те тридцать пять – сорок лет, что достались мне, именно мне, Антону Игнатьеву, тому, кто кончил институт, немного повоевал на Великой Отечественной, любил, работал, чего-то писал, был неудачником, был и успешным – как все это выглядит с моей дистанции и как будет выглядеть потом. Вот Пушкин пишет: „Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи“ – гнул ведь я, гнул – и то, и другое, и третье... Я писал не биографию, скорее это была история моих чувств – как я верил в свою страну, в то, что мы создаем замечательное общество, справедливое, счастливое, как терял эту веру, про свои разочарования, обиды, про то, как меня искривляла наша жизнь, выжигала во мне идеалиста, мечтателя».

Не важно, что автор называет себя Антоном Игнатьевым, а не Даниилом Граниным, этим приемом – персонаж, он же автор, – Гранин пользуется неоднократно. Это существенно расширяет возможности в реализации задуманного – время от времени взгляд со стороны в соотнесении с непосредственным свидетельством. Этим приемом, развив его, он успешно воспользовался в лучшей, быть может, своей книге – «Мой лейтенант». Кстати, в книге, предлагаемой читателю, есть ясные заготовки для «Моего лейтенанта».

Да, центральный сюжет этого обширного, сотни страниц, текстового пространства – история того, как менялся под давлением опытов жизни умный и талантливый человек. Не знаю, как задумывалась эта эпопея фрагментов, но получилась история личности, накрепко встро-енная в историю страны, которую также «искривляли». Указания читателю – сознательно или подсознательно – прорываются в разных, иногда неожиданных местах общего пространства. И объясняют главный импульс, заставляющий писателя строить эту Вавилонскую башню кон-кретных жизненных фактов, внезапно возникающих мыслей, своих и чужих мимолетных впе-чатлений, афоризмов.

Вавилонскую башню – поскольку сочинения этого типа не могут органично быть завер-шены. Они искусственно с точки зрения художественного замысла пресекаются с уходом из мира автора.

Так вот – импульс. «Если забыть, что было со страной, что творили с людьми, – зна-чит утратить совесть. Без памяти совесть мертва, она живет памятью, надоедливой, неотступ-ной, безвыходной... С вопросом о совести я подступался к самым разным людям – психоло-гам, философам, историкам, писателям... Их ответы меня не устраивали. Удивлялись тому, что после всех потрясений, когда перед народом открылась ложь прежнего режима, ужасы ГУЛАГа, преступления властей, никто не усовестился».

Вот: двигатель повествования, как бы разорванно и фрагментарно оно ни было, – понять, что же происходило с этой странной материей, совестью, и самого автора, и всей общности на фоне трагедии огромной страны – «Что было со страной...»

Текстовое пространство многослойно и принципиально бессистемно. Это поток жизни, причудливое течение реки памяти. Но при сюжетной бессистемности оно – чем дальше по нему движешься – представляется структурированным. В расположении фрагментов нет фор-мальной сюжетной логики, но есть логика ассоциативного сцепления.

Сюжетные пласты – собственно автобиографический, военный, исторический – пред-ставляются с течением времени не хаотично разорванными, но периодически уходящими в глубину текстового пространства и неожиданно возвращающимися на его поверхность.

Это причудливый и парадоксальный мир и собственной памяти, и разного рода реми-нисценций.

Биографический элемент – как бы ни назывался герой, условным Д. или Антоном Игна-тьевым, – основополагающ.

С истории детства Д. и начинается книга. Эта обширная часть текста написана тонко и психологически точно, напоминая лучшие образцы классической русской прозы о детстве. И взаимоотношения родителей, увиденные прозрачным, но и отстраненным взглядом ребенка, и отношения маленького человека с природой, со сверстниками, печальные догадки о сложности бытия – все это узнаваемо и понятно.

Самое яркое и болезненное пересечение собственно биографического и исторического пластов – война.

К концу чтения появляется ощущение целостности повествования, и причина этому – память и рассуждения о войне, пронизывающие всю его, повествования, толщу. Трагедия войны отрезвляет и воспитывает, бросает страшный ответ на всю последующую жизнь. Но проявляется это воздействие войны на реальное поведение героя не сразу. Недаром первая военная повесть Гранина «Наш комбат» была написана только во второй половине шестидеся-тых. И недаром она была опубликована в провинциальном петрозаводском журнале «Север» – в отличие от всех предыдущих крупных вещей писателя.

Но от благородного пафоса «Нашего комбата» до восприятия войны поздним Граниным – дистанция немалого масштаба.

Для Гранина война – это магическое зеркало, в котором отражаются в многообразных сочетаниях память героя-автора и жизнь страны. В этом зеркале прошлое предстает без при-

крас и того успокаивающего флёра, который часто генерируется временным расстоянием. Всё здесь предельно резко и честно.

Война у Гранина как литературный текст – это война Льва Толстого, предельно конкретная и отталкивающая в своей конкретности.

«И всюду страшные вздутые трупы. Это раненые расплзались во все стороны. Умирали, почему-то уткнув лицо в землю, скрюченные последними муками.

Передо мной предстала картина отступления наших. Немцы своих подобрали и похоронили. Наши уходили в небытие безвестными, безвестные навсегда.

От сладкой вони гниющей человечины тошнило, находиться долее не было сил. Жирные блестящие мухи гудели над трупами, кружили птицы. Здесь, на перекрестке дорог, немцы на броневиках настигли отступавшую нашу часть, судя по всему, наши стояли насмерть. Были израсходованы все гранаты, диски автоматов, ручных пулеметов были пусты, так что и пожить было нечем... Вот что такое отступление».

Военная проза Гранина ближе всего к военной прозе Виктора Астафьева с его безжалостными инвективами: «...Вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в День Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощения за бездарно „выигранную“ войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови».

Гранин, конечно, знал эти безжалостные слова, но почти буквально их повторяет: «Мы не хотим осмыслить цену Победы. Чудовищная, немыслимая цена. Правду о потерях выдают порциями, иначе бы она разрушила все представления о сияющем лике Победы. Все наши полководцы, маршалы захлебнулись бы в крови. Все наши монументы, Триумфальные ворота выглядели бы ничтожными перед полями, заваленными трупами. Из черепов можно было сооружать пирамиды, как на верещагинской картине».

Война для Гранина поставила с ослепительной ясностью проблему – власть и народ. И яростный счет, который он предъявляет власти, естественно сосредоточен на центральной фигуре эпохи – Сталине. Сталин возникает на пространстве книги неоднократно. Именно здесь достигает высшей концентрации боль и ненависть: «После войны, когда собрал он свой хурал, хоть помянул бы тех, кто живота не пожалел, защитив этих кремлевских шакалов. Ни слова сочувствия вдовам, инвалидам, сиротам, их ведь, считай, полстраны в остатке. Поклонись им, падло, до земли, на колени встань, прощения проси, упырь!»

Несомненно, это не просто эмоциональный выплеск. Гранин, конечно же, был знаком с мемуарами Жукова и Василевского, которые, несмотря на внутреннюю и внешнюю цензурованность, достаточно информативны. И, соответственно, знал о роковой роли Сталина в первый год войны, когда тот, самоуверенный дилетант, грубо вмешивался в планирование стратегических операций. Гранину, конечно же, была известна роль Сталина в гибели мощной – более 900 тысяч хорошо вооруженных и обученных солдат – группировки генерала Кирпоноса, командующего Киевским военным округом. Обстановка складывалась таким образом, что армиям Кирпоноса грозило окружение, и Генеральный штаб – Жуков, Шапошников, Василевский – считали, что войска необходимо отвести за Днепр. Это означало сдачу Киева, но спасение группировки. Сталин запретил. Но когда близость катастрофы была уже совершенно ясна, когда истекающие кровью полуокруженные дивизии просили разрешения отойти, Сталин ответил: «Надо заставить прекратить отход. Надо внушить всему составу фронта необходимость упорно драться, не оглядываясь назад». Абсолютно не представляя себе реального положения, в гневе сняв Жукова с поста начальника Генерального штаба, Сталин подписал смертный приговор сотням тысяч советских солдат. Киев немцы взяли. Из 900 тысяч киевской группировки 600 тысяч оказались в плену, остальные в большинстве своем погибли... И это отнюдь не единственный случай, когда по вине Верховного главнокомандующего, принимавшего решения вопреки мнению профессионалов Генерального штаба, погибали сотни тысяч

наших солдат и усугублялась катастрофичность общей ситуации. Фронтовик Гранин имел полное право назвать Сталина упырем...

Читатель, знающий Гранина как автора спокойных и мудрых сентенций, проповедующего милосердие и терпимость, будет удивлен жесткостью и бескомпромиссностью его оценок, рассыпанных по книге. И дело не только в бесцензурности нынешних изданий. Гранин последних лет жизни сурово сводил счеты не только с реальностью, но и с самим собой. Тем Граниным, который в принципиальном для него эссе «Страх» писал с горечью: «Это заметки про страх. О том, какое большое место в моей жизни занимал Страх, сколько прекрасных порывов души погасил он в жизни моего поколения, сколько извратил он в характере, как он обессиливал, какие горькие воспоминания он оставил... Мне захотелось рассчитаться с этим чувством, попробовать взглянуть ему в глаза...»

Эта декларация буквально совпадает с программным стихотворением Иосифа Бродского, участие в судьбе которого – на разных этапах с разным знаком – оставило, я уверен, болезненный шрам на памяти Даниила Александровича.

Стихотворение начиналось строками: «Заглянем в лицо трагедии... Заглянем в ее глаза».

На исходе прожитого столетия Гранин решил «взглянуть в глаза» трагедии своей страны и не отвел взгляда.

Разумеется, его память о войне – это не только ее ужас и несправедливость по отношению к человеку. Это и восхищение мужеством тех, кто совершил, казалось бы, невозможное: «В тот страшный 1941 год натерпелись не только позора отступлений, но и боли разочарований. Казалось, все непоправимо. Тогда произошел перелом.

Как это случилось, я толком не понимаю, но это произошло. Нельзя было дальше так воевать, мы ощутили Край.

Это было то, что Пушкин назвал самым точным словом – „остервенение народа“...

В 1942 году, да и в конце 1941-го, уже в костер войны шло все, что могло остановить противника. Дивизии ополчения и в Москве, и в Ленинграде останавливали танковые армии Манштейна, воевали тем, что имели, а кроме сорокапятки дивизия наша имела бутылки с „коктейлем Молотова“. Ею надо было поджечь танк, и поджигали».

И это не художественное преувеличение. В документальном исследовании Марка Солонина «22 июня, или Когда началась Великая Отечественная война?» рассказана, в частности, история боя дивизии генерала И.Н. Руссиянова, одного из самых успешных генералов Великой Отечественной, у которой по безумному приказу отобрали всю артиллерию: «Вот в таком, практически безоружном состоянии, бойцы дивизии Руссиянова встретили удар 39-го танкового корпуса немцев. Три дня удерживали они свой рубеж обороны, стеклянными фляжками с бензином жгли вражеские танки, уничтожили до полка мотопехоты, в ночном бою разгромили штаб 25-го танкового корпуса вермахта». Это произошло в июне 1941 года. Приведя ряд подобных примеров, Солонин с гордостью говорит: «Тысячи героев 1941 года сражались почти в одиночку, оставшись в хаосе всеобщего бегства без соседей, без связи – и без надежды остаться в живых... Практически на каждом участке огромного фронта начавшейся 22 июня войны находились те, кто среди всеобщего хаоса и панического бегства стоял насмерть»¹.

Вообще было бы интересно и поучительно издать военные тексты Гранина с параллельными текстами военных историков, описывавших схожие по месту действия события.

Пространство книги обширно и многообразно. Тут есть и веселые пассажи, и тонкие наблюдения над природой, и рассказы, размышления о любви, да и вообще о человеческих характерах, о парадоксальности человеческой натуры. Это пространство многообразно и разнородно по значению сюжетов, как и жизнь, на которую оглянулся Гранин.

¹ Солонин М.С. 22 июня, или Когда началась Великая Отечественная война? М., 2006. С. 482–483.

И тем не менее главное в книге, ради чего она, уверен, и создавалась день за днем, – преодоление трагедии закреплением ее в памяти своей и тех, кто будет читать книгу.

Как уже было сказано, текст скреплен, неявно структурирован особыми парадоксальными связями. Часто это принцип контраста.

Вот перед читателем тонкое и грустное рассуждение об одиночестве. Одиночество в детстве. О высоком смысле одиночества. Затем – вполне идиллические рассказы о великом физике Абраме Федоровиче Иоффе, о больших ученых, живших в Комарове, о благодатных прогулках по комаровским лесам. И тут же – горькая история похорон Ольги Берггольц – история массовой подлости и собственного страха: «А как речей боялись, боялись, чтобы не проговорились – что была она врагом народа, эта великая дочь русского народа, была арестована, сидела, у нее вытоптали ребенка, ее исключили из партии, поносили... На самом деле она была врагом этого позорного режима... Никто, конечно, и слова об этом не сказал. Не проговорились. Только Федя Абрамов немного намекнул на трагедию ее жизни, и то начальство заволновалось. Я в своем слове ничего не сказал. Хотел попрощаться, сказать, за что любил ее, а с этими шакалами счеты у гроба сводить мелко перед горем ее ухода, заплакал, задохнулся, слишком много нас связывало. Только потом, когда шел с кладбища, нет, даже на следующий день заподозрил себя: может, все же убоялся? Неужели даже перед ее гробом лжем, робеем?»

Но этим Гранин не ограничивается. Ему важно вставить эту тяжкую историю в контекст, напоминающий босховские полотна, но без их зловещей мощи – пошлый вариант ужаса: «На поминках выступала писательница Елена Серебровская, тоже сексотка, бездарь, которую Ольга терпеть не могла... Вся эта нечисть облепила ее кончину, как жирные трупные мухи».

Гранин – мастер смысловой рифмы. Помните описание погибших при отступлении красноармейцев и «жирные трупные мухи» над трупами?

И сюжетные рифмы. Историю похорон Ольги Берггольц предваряет история похорон Зощенко. Тот же уговор молчания, но неожиданно сорванный: «Церемония заканчивалась, когда вдруг, растолкав всех, прорвался к гробу Леонид Борисов. Это был уже пожилой писатель, автор известной книги об Александре Грине „Волшебник из Гель-Гью“, человек, который никогда не выступал ни на каких собраниях, можно считать, вполне благонамеренный...

„Миша, дорогой, – закричал Борисов, – прости нас, дураков, мы тебя не защитили, отдали тебя убийцам, виноваты мы, виноваты!“

Надрывный, тонкий голос его поднялся, пронзил всех, покатился вниз, люди передавали друг другу его слова, на улице толпа всколыхнулась...

Я возвращался домой с Алексеем Ивановичем Пантелеевым, он говорил: „Слава богу, хоть кого-то допекло, нашелся человек, спас нашу честь, а мы-то, мы-то...“»

Вот это горькое «а мы-то, мы-то...» постоянно витает над пространством книги.

Важный пласт книги – судьбы, которым посвящены отдельные сюжеты.

Многообразие этой галереи вполне под стать особенности книги как жизненного потока. Шостакович и знаменитый своим мужеством генетик, герой войны Иосиф Рапопорт. Академик Анатолий Петрович Александров, президент Академии наук, и великий Стивен Хокинг. Хрущев и Маленков. И многие, многие другие...

Фигура Маленкова в глазах Гранина, который встречался и разговаривал с первым некогда человеком СССР, – символична. Зловещее ничтожество, безграничная жестокость и чудовищное ханжество. Живя на покое в Москве, Маленков, этот герой террора, с удовольствием наблюдавший, как пытали его вчерашних товарищей, стал ходить в церковь и молиться. При этом писал книгу о Ленине...

И параллельно с этой галереей – судьбы самых разных людей, отнюдь не знаменитых, встреченных Граниным на жизненном пути. Все люди, как утверждает Даниил Александрович, – исторические.

Как-то, узнав, что я занимаюсь историей Петра I, Даниил Александрович спросил с надеждой: «Но ты его полюбил?» Я сказал, что не могу полюбить человека, который собственноручно рубил головы, пытал собственного сына, разрушил – до основания, – нравственные представления русского общества, не предложив взамен ничего кроме «государственной пользы» и принципа «регулярности». Хотя во многом отдаю императору должное.

Даниил Александрович огорчился. Это глубоко личное отношение позднего Гранина к прошлому и настоящему, очевидно, и придает его эпопее своеобразное обаяние. Мы видим как упрямо, не всегда без внутреннего сопротивления, он старается проследить путь от себя прежнего – с «неотступными грехами», с подверженностью страху, – к самому себе, каким он хотел стать и стал. Но это и путь России – под взглядом любящим, но трезвым.

Ославленный безумцем Чаадаев писал: «Я не научился любить свою Родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами».

Предлагаемая читателю книга – и завещание Даниила Гранина, и свидетельство изживаемой им с годами жизненной драмы, и понимание единства истории – прошлое и настоящее живут в ней в органичной тревожной связи.

Яков Гордин

Изменчивые тени

*Вы снова здесь, изменчивые тени,
Меня тревожившие с давних пор,
Найдется ль наконец вам воплощенье,
Или остыл мой молодой задор?
Но вы, как дым, надвинулись, виденья,
Туманом мне заставили кругозор.
Ловлю дыханье ваше грудью всею
И возле вас душою молодею.*

И.В. Гёте. «Фауст»
Перевод Б. Пастернака

Выигрыш

Как человек появляется на свет Божий, как он растет первые свои годы, как становится человеком – ему самому не ведомо. Начало жизни в памяти у него не остается. Самое важное пропадает. Память о детстве появляется к трем-четырем годам, когда начинается «я». О первых годах можно узнать по рассказам родителей, нянек, какие-то сценки, словечки... Природа зачем-то прячет от человека самый нежный, сладостный период его жизни. Но для чего? Какой-то смысл это засекречивание имеет, ибо все, что творит природа, не случайно, отнюдь не небрежность, не злокозненность. Как бы то ни было, Д. появился на свет в собственном сознании поздно. Даже не в три, а, скорее, в пять лет.

Он застал своего отца старым. Много старше, чем другие отцы. А мать была молодая. Ее рядом с отцом принимали за его дочь. Отец смущался, и Д. страдал за отца. Только когда они оставались вдвоем, жалость к отцу проходила. И то не сразу. Для этого надо было, чтобы они куда-то шагали. Отец опять становился сильным и неутомимым. То же происходило, когда отец размечал лесосеки, делал зарубки, определял, откуда взялся сухостой, жучок.

Жизнь Д. сложилась не очень обычно с первой минуты появления на свет Божий. Можно сказать, что появился он в самый неподходящий момент. Под Новый год. Прямо на балу. Испортил матери праздник. Ее увезли от стола. Или с танцев. Позже она утверждала, что, несмотря на беременность, танцевала. Она была танцунья, певунья, и Д. мог бы подождать со своим появлением годик-другой. А уж сутки – наверняка. Тем не менее он, словно нарочно, появился именно под Новый год, причем данные расходятся: то ли он все же успел проскочить до боя часов, то ли после.

Я никогда не видел его в младенчестве, но сохранилось несколько фотографий – пухлый, круглоголовый младенец, с довольно смысленными глазами, сильный и, судя по рассказам, имел весьма здоровые легкие.

Рождение в новогоднюю ночь, несомненно, сказалось на его веселом и в то же время задумчивом характере, поскольку под Новый год обычно обновляют надежды, отказываются от вредных привычек, берут всякие обязательства, так и он не раз начинал новую жизнь, в итоге у него набиралось несколько разных жизней.

Несмотря на некоторую досаду, мать была рада его появлению. Он был первенец, и наверняка его можно считать желанным ребенком. Для отца – несомненно. Батюшка торопился закрепить за собой молодую жену. А чем их привяжешь – детьми. «Брюхатить их надо», –

повторял он еще и в шестьдесят, и в семьдесят лет. Как-никак разница у них составляла двадцать пять лет. С первой женой разницы не было, а с этой приключился большой разницей.

Быть желанным ребенком не всегда удается. Потом, может, тебя и полюбят, но важно, как тебя зачинают. Надежды, любовь, которые оба, мужчина и женщина, вкладывают в миг зачатия, многое определяют. Биологи могут не учитывать непосредственного влияния психологии на качество зародыша, но сестры в родильных домах, те четко различают желанных и нежеланных младенцев.

Итак, он был желанным, и это не раз помогало ему, наделило его способностями, здоровьем, я бы даже сказал, удачливостью.

Плодите желанных детей!

Несколько смутных картинок, загадочно-безымянных, вот и все, что имеется в распоряжении Д. о начале его сознания. В течение первых трех лет завершается становление личности. Ибо главное, как считают генетики, закладывается в наследственном коде, который в свою очередь создается в таинственный и прекраснейший миг зачатия новой жизни.

Итак, первая пора детства Д. в основном известна лишь по рассказам родных, отдельные картинки, словечки, выхваченные из тьмы.

Мать была красавицей. В состав ее красоты входили ее голос и фигура. Д. любил ее голос, наверняка она пела над ним, когда он был еще младенцем, этот чистый высокий голос вошел в него вместе с грудным молоком.

С ее голоса все и началось у отца, когда они еще не были отцом-матерью. Отец был тогда лишь командировочным, попавшим в Литву по делам.

Шел он по своим делам и услышал в переулочке пение. Он свернул туда, пошел на голос как замороженный... Впрочем, не будем преувеличивать. Не такой уж он был мечтательный юнец, не был он и искателем приключений. Это много позже расцвело в их рассказах: «Услышал, как я пою...», «что-то повело меня...». Думаю, что, скорее всего, он просто плутал, ища в незнакомом городе контору, куда направлялся.

Итак, услышал над собой голос, посмотрел вверх и увидел свисающую из окна ножку. Она, ножка с пальчиками, розово просвечивала на солнце. С ножки свисала туфелька. Все это хозяйство принадлежало девице, которая восседала в окне второго этажа, там она шила, и пела, и болтала, голой ногой, вторую поджав под себя.

Ножка была безупречной формы, той самой, которая нравилась Александру, в дальнейшем – Саше. У каждого мужчины к женской ноге есть свои требования. Эта ножка могла претендовать на всеобщий эталон. Будучи выставленной отдельно, она являла бы классический образец. К тому же ножка эта двигалась, видна была до колена и чуть выше. Так что на Сашу действовали и звуковые, и зрительные, и, я бы сказал, эротические силы. Неудивительно, что он застыл перед этими силами с раскрытым ртом. Вид у него был такой, что сверху раздался смех, нога дернулась, туфелька упала перед ним. Далее все развивалось с фатальной неизбежностью. Он поднял туфлю, зашел в подъезд и поднялся в белошвейную мастерскую. Ножка и туфля принадлежали прелестной особе, так показалось ему, все у нее соответствовало голосу. Можно представить себе его вид: провинциал в суконном пиджаке с брезентовым портфелем, в парусиновых туфлях, ошалевший от множества смеющихся женщин, стрекота швейных машинок. Он протянул девице туфельку, девица возьми и поцелуй его, чмокнула в щеку, а он хватил ее и в губы, видно, она чем-то ответила в этом поцелуе, что-то, несомненно, произошло внутри поцелуя, потому что всякий поцелуй имеет свое внутреннее содержание. Отцу помогло то, что он изобразил смешок – опыт обращения с женским племенем у него был. Вечером они уже гуляли в парке. Девицу звали Анной. Он называл ее Нюрой. Три вечера подряд они куда-нибудь отправлялись. Побывали в кондитерской. Катались на извозчике: шикарный экипаж с фонарями, на красных рессорах, извозчик был с малиновым кушаком.

Пока что знакомство их выглядело забавой. С его стороны – солидный господин, отец семейства, он сам подшучивал над собой. Несомненно, он выбрал правильный тон. Никаких неприличных поползновений. Не было больше ни поцелуев, ни объятий. Он держался с ней по-отечески и покровительственно, она кокетничала вовсю, напевала, хихикала, принимала театральные позы, демонстрируя свои достоинства. Их разделяла целая жизнь. Она была девушкой, он же имел жену, дочь, которые жили в Киеве, то есть бесконечно далеко от нее, от этого литовско-русско-польского города.

Они оба делали вид, что их встречи ничего не значат. Она была из большой бедной семьи с множеством братьев и сестер, где никому до нее не было дела. Во всяком случае, она не спешила домой. Она была белошвейка, у него же как-никак было положение, он работал на лесной бирже, какое-то у него имелось дело, полдела, четвертушка, дохода не было, но прочность была.

Перед отъездом он повел ее в настоящий ресторан. Она раздобыла праздничное платье. Сам он был во второй раз в жизни в ресторане, для нее же это было невероятное событие, чудо. Она ахала, не стесняясь своего восторга, вертела хрустальные бокалы, гладела на официантов в черных костюмах.

Конечно, он пускал пыль в глаза этой девочке. Вильна была в те годы провинцией по сравнению с Киевом, а пыль пускал потому, что решение созревало. Сам он о своем решении не знал. Он лишь не хотел отрезветь, опомниться.

Произошло ли объяснение в самом ресторане или позже – неизвестно. Стороны расстались, растревоженные... Александр уехал, далее события стали убыстряться. Когда вернулся в семью, стало ясно, что надо разводиться. Будучи человеком дореволюционных понятий, наш герой, вернее, отец нашего героя относился к разводу серьезно, считал это событие не менее ответственным, чем женитьба. Более ответственным. Потому что новая женитьба ничего не требовала, кроме свободы и решимости. Развод же требовал обеспечить прежнюю семью средствами к существованию. Такие у него были понятия. Вообще развод был катастрофой, но катастрофу остановить он не мог. Нужны были деньги, много денег, которых у него не было. Для него, мелкого служащего, сумма неподъемная. Раздобыть – где, как? Не было хода назад и не было – вперед. Тут были и другие обстоятельства, неизвестные нам, все они вели в отчаяние. Вот об отчаянии мы знаем точно из того, что произошло дальше.

Его посылают в Петроград, в командировку. Там у него был приятель, огромный толстяк, выпивоха. Спустя годы Д. еще успел увидеть его и запомнить. Они выпили, и Саша рассказал ему о своей беде. Признался, что готов на себя руки наложить.

Вполне возможно, он уже имел какие-то обязательства перед Анной, мало ли – обещал ей, расстроил ее помолвку с кем-то. А может, все же что-то было между ними, и такое, что по его понятиям не позволило ему отступить. В те времена невинность девушки почему-то высоко ценилась и, соответственно, много для нее значила. Нынешнему человеку даже трудно понять такое трепетное отношение к этому чисто условному препятствию.

Выслушав его признание, приятель предлагает единственное – отправиться в игорный клуб. У Александра имелись при себе казенные деньги для закупок лесосек, вот на эти деньги и сыграть, прежде чем руки на себя накладывать. Логично? Пропадать – так с музыкой! И повел его во Владимирский клуб. То было известное заведение, где действительно гремела музыка, был ресторан, все это состояло при зеленых ломберных столах, при рулетке – короче, при игорном промысле.

Февральская революция 1917 года уже произошла, а рулетка все так же крутилась. О крупнейших исторических событиях современники часто понятия не имеют, много позже они читают об этом в книгах, обнаруживают в кинофильмах – оказывается, рядом что-то происходило.

Старик Меженко, известный библиограф, уверял меня, что Октябрьской революции как таковой не было: «Уверяю вас, я как раз 25 октября 1917 года вечером на извозчике проезжал мимо Зимнего дворца, все было тихо. Посидел в гостях, возвращался через Дворцовую площадь, опять ничего не заметил».

Во Владимирском клубе играли по-крупному, Александр смотрел-смотрел, вообще-то в карты он играл, в преферанс по копейке, но имел большую азартность. Жалованье, конечно, не позволяло развернуться, здесь же ставки делали неслыханные. Он взял купил фишек на все казенные деньги, какие ему были выданы, так что переступил. Честь, наработанную репутацию, доверие – всё переступил.

Как вы понимаете, поставил на кон свою судьбу, и тут же рядом с его судьбой встала на кон и еще крохотная судьба нашего будущего героя. Обе они принялись уговаривать Фортуны. Повязка на глазах мешала ей увидеть Александра, может, оно и к лучшему – вид у него был не гусарский. Хотя состояние его передалось, и ему «пошло». Выигрыш за выигрышем, пока он не достиг нужной ему суммы для развода. На этом он остановился, сгреб все денежки и сбежал.

В его натуре таился игрок. Рулетку же видел впервые. Рулетка, она игра обнаженная, она наглядная игра, она – чистый азарт.

Как он удержался от продолжения, как обрубил свой азарт... Для игрока это наиболее трудное. Ему помогла любовь.

Много позже в помещении клуба открылся театр. Сохранился грот, отделанный диким камнем, и залы. В каком из них шла та игра, Д. не знал, он бродил по фойе, пытаясь представить, как все происходило. Буфет, стойка, стеклянная стена, столики, женщины. Выпил ли отец, выигравши, помолился ли, отблагодарив Бога за удачу...

Бывая в этом театре, Д. испытывал странное чувство, давнее волнение отца как бы передавалось ему: память стен? память места?

Итак, отец выиграл развод, а значит, освобождение, значит, молодую жену и новую жизнь. Решил он ее начать на новом месте. Все заново. Выигрыш отдан прежней семье, отец остался на нуле. Но в сорок четыре года он чувствовал себя полным сил, а главное – счастья. Он был свободен и любил. Для этого человека счастьем было любить. Для некоторых важно быть любимыми, ему же нужно было иметь, кого любить.

Быстрый крупный выигрыш этого новичка в рулетку говорит о том, что браки действительно заключаются на небесах. Думаю, что занимаются там этим делом не от скуки и не из любопытства, а потому, что, если призадуматься, это и есть важнейшее в жизни человека и человечества. Удачные браки создают устойчивость общества, генетический отбор, атмосферу любви и прочие радости. Вы спросите, а как же неудачные браки? Думаю, они тоже нужны. На примере Александра видно, что первый брак его устарел, испортился и, чтобы появился наш герой, нужен был совершенно новый брак. В этом Д. был твердо убежден, поэтому так и способствовал этому еще до своего появления. То, что он появился еще до родов, он был в этом уверен, ибо не представлял себе мира без своего хотя бы незримого присутствия.

Заявил Д. о себе, как я уже говорил, на новогоднем балу. Посреди праздника начались схватки, наш герой, слышав музыку, звон рюмок, постучался в этот мир. Действия его свидетельствуют не о себялюбии, а скорее о любопытстве. В дальнейшем дата его рождения вызывала споры, проскочил ли он до боя часов или после; обстоятельство немаловажное при призыве в армию и прочих его делах, оно позволяло ему становиться то старше, то моложе. Рождение в новогоднюю ночь сказалось на его характере с постоянным желанием начать жизнь по-новому, без вредных привычек.

Несмотря на срыв мероприятия, мать была рада его появлению. Отец тоже был счастлив безмерно. Ребенок был зачат в разгар их любви, в самый ее романтический период. Александр пребывал в состоянии сказочного принца, который извлек Золушку из бедственного захолу-

стью, выиграл, можно сказать, в рулетку, привез в столицу. Разница лет в ту счастливую пору придавала прелесть их отношениям. Анна не могла опомниться от чудесной перемены своей жизни, от того, что смогла вскружить голову такому серьезному мужчине, из-за нее он бросил семью...

Появлению Д. все обрадовались. Хотя для той эпохи он был ни к чему, поскольку эпоха была не для новорожденных. Младенцы не могли благоденствовать в двадцатые годы XX века, особенно в Петрограде. Там наступила голодуха. Шла Гражданская война. Колыбель революции для младенцев не годилась, поэтому семья переместилась в деревню, поближе к лесу, лесозаготовкам.

Постоянно борются забвение и память, не поймешь, что именно мы забываем, почему этого человека, хорошего, умного, мы забываем, а никчемного помним. Что-то памяти удастся отстоять, что-то удастся изъять. Остатки те, что сохраняются, это и есть – личность, она состоит из воспоминаний, и прежде всего детских.

Воспоминания, если угодно, нуждаются в уходе... Их полезно перетряхивать, освежать, осмысливать, особенно ранние. Неслучайно Лев Толстой начал свою работу с рассказа о детстве. В двадцать восемь лет он занялся воспоминаниями, тем, чем обычно кончают. Максим Горький стал писать «Детство» в сорок пять лет. А Михаил Зощенко писал «Перед восходом солнца» в сорок девять лет и долго мучался, пытаясь восстановить самую раннюю память свою, прапамять. И в этом деле добился редких результатов, это был удачный опыт такого рода по реставрации памяти. Однако думается, что работы его были бы тем легче, чем раньше он занялся бы ими.

Любимец Мнемозины Владимир Набоков лучшим способом доказал, что детство – родина писателя. «Другие берега» выстроены из сокровищ детской памяти, это торжество детской памяти. Каким-то чудом он сохранил свежесть ее красок, запахов, ощущений.

«Перед моими глазами, как и перед материнскими, ширился огромный, в синем сборчатом ватнике, кучерский зад, с путевыми часами в кожаной оправе на кушаке; они показывали двадцать минут третьего». Окончание фразы должно подтвердить фотографическое устройство набоковской памяти.

Однажды, будучи в США, в Канзасском университете я разговорился с бывшем приятелем В. Набокова. Он рассказал любопытные подробности, как Набоков ухаживал за своей памятью, можно сказать, лелеял ее. К примеру, в годы своей жизни в США, а затем в Швейцарии он не обзаводился собственной мебелью, книгами. Жизнь в гостиницах, пансионатах позволяла это. Он всячески избегал приобретать вещи – они, как он считал, отнимают память. Он старался сохранять мир своего детства во всех микроподробностях нетронутым.

Что касается моего героя, он растранижил свою память, у него осталось лишь несколько бессвязных картинок, клочки. То, что происходило между ними, – неизвестно.

Спустя три года после рождения мы застаем нашего героя в деревне Кошкино. Отец его занимался там лесозаготовками для Петрограда, который в те времена отапливался исключительно дровами. Леса окрестных губерний сводились на дровишки. Эшелоны шли к столице. И зимой, и летом. Ибо летом тоже топили плиты, на них готовили пищу.

Кто бы мог подумать, что придется объяснять такие вещи, как дрова, вязанка дров, поленница, дровяные склады, дровяные биржи, баржи, которые везли эти дрова в город. Дрова, дрова... Детство моего героя проходило, можно сказать, среди дров. Точнее, на границе между лесом и дровами, в том промежутке, где лес превращался в бревна, доски, баланс, пропс, рейки, клёпки, дрова, опилки, живицу, деготь, drankу...

Дрова провожали его еще много лет, последнее из всего набора отцовской жизни.

От Кошкина сохранилась в памяти всего одна картина: к окну на лодке подплывает отец. Диковинная, как сон. Долгое время она так и висела, отдельная, непонятная, ничего кругом,

только окно, у окна Д. с кем-то, и на лодке подгребают отец. Во взрослости, уже старея, Д. вдруг попробовал выяснить, что же это могло значить, каков смысл этого видения? Оказалось, что так действительно было, в деревне Кошкино произошло наводнение, и отец приплыл на лодке, взял их из избы и увез. Его, трехлетнего. Пожалуй, это было самое раннее воспоминание. Ничего из детства до этого он не помнил. Может, что и было, но, как и большинство людей, он запустил свои воспоминания, они заросли, заглохли. В силу необычности осталась лодка у окна – ошеломление памяти.

За первой картинкой следовали с неизвестными промежутками:

...Лошадь обмерзлая, мохнато-седая от инея, пока ее запрягали, он общипывает намерзшие на нее сосульки...

...Собака воеет, кидается на дверь, мать выпускает ее, она мчится в ночь, потом прибегает назад, тащит мать, та идет за ней и находит отца на дороге. Он бредет, опираясь на ружье. Оказалось, когда он возвращался, за санями погнались волки, лошадь понесла, сани перевернулись, отец подвернул ногу...

...Горы опилок вокруг пилорамы. Лучшее место для игр. Вместо песка песочницы – пахучие опилки. Внутри, когда зароешься поглубже, они теплые, еще глубже – горячие. Опилки лежат слоями: желтые, белые, красноватые, кремовые, коричневые, смотря что пилили...

...Рейки, которыми сражались, рейки-пики, рейки-шпаги.

...Лыжи, сделанные отцом, с веревочками, с палками, а на палке – деревянные кружочки, а лыжи – широкие, натертые свечкой.

Картинки следуют все чаще, пока не сливаются уже в связанные воспоминания. Примерно отсюда можно было начинать рассказ о детстве. И далее переходить к истории формирования моего героя, которая, пока она не написана, кажется интересной для всего человечества, на все времена. Таково преимущество ненаписанных вещей, они всегда хороши.

Однако, разглядывая разные сценки, я, несмотря на нетерпение героя, вижу не столько его, сколько его родителей.

Уехав из Петрограда, они перемещались из одного лесничества в другое. Гражданская война полыхала поблизости, заглядывала светом пожарниц. Налетали банды: то белые, то красные, то зеленые; наверняка происходило что-то значительное, можно сказать, историческое, о чем герой мой не знает, потому что не расспрашивал, он упивался своей ребячьей жизнью, считая ее несравнимо интереснее, чем все то, что происходило с родителями, да и со всей страной.

Если бы он читал Фрейда, то знал, что становление личности происходит с четырех до восьми лет. И родители его не читали Фрейда, да и что это могло бы изменить. Им помогала любовь, а остальное решали картошка, керосин, валенки.

Первые годы были для молодой жены интересны. Укрытая в деревенской глуши от питерского голода, от грабежей, очередей и прочих невзгод, она с живым чувством отдалась деревенской жизни незнакомой страны, незнакомому быту и быстро приспособилась. Помогали и красота, и певучий голос ее, и мужняя практичность. Он занимался делом, которое всегда ценилось в деревне, – изготавливал главный строительный материал. Кирпич, конечно, тоже нужен был на печи, но лес – больше – во всех видах.

Нюра училась выпекать хлеб, делать кокорки – вкуснейшие ржаные лепешки с творогом, морковью, – собирала ягоды, варила варенье, солила грибы, огурцы, огородничала.

Был в памяти Д. один недеревенский праздник. Если аккуратно сложить все кусочки, продолжить смутные линии, по местам распределить краски того солнечного дня, то появится большой дом с колоннами, огромная веранда, застекленная цветными стеклышками. Длинный

праздничный стол, накрытый белой крахмальной скатертью. Праздник происходил в помещицком доме. Следовательно, поблизости оставалась неразгромленная, несожженная усадьба. Принимал отца и мать не управляющий, а сам помещик, это тоже известно по тому, что об этом долго говорили в семье. О том, как он почему-то уцелел, почему-то живет в этом доме, почему-то его не трогают. Приглашен же отец был для игры в преферанс. В результате Гражданской войны наступил дефицит партнеров.

Впервые Д. видел роскошь, да еще в действии. Большую керосиновую люстру. Салфетки. Мать пела под гитару русские и польские романсы. Мужчины играли в карты. Даже если это происходило в двадцатые годы, все равно это было чудо, потому что согласно «Краткому курсу истории партии» главная задача работы в деревне была «всемерное кооперирование крестьянских масс». Следовательно, шла кооперация, изгоняли дворян, а в детской памяти ничего подобного найти не удастся. Вместо этого блесит огромный самовар на столе, стоит фарфоровая сахарница со щипцами, и цветные стекла веранды дробят долгое летнее солнце так, что повсюду горят на лицах, на белом пиджаке отца цветные пятна.

Хозяин был громадный, с громадным смехом и громадным голосом. Д. назвал его дядя Пу. Появился он вновь спустя несколько лет, в Питере, когда отец уже был выслан, такой же громкий, барственно-веселый.

Отца Д. считал всемогущим, он командовал пилорамой, огромным и страшным сооружением. Машина справлялась с любым толстенным бревном. Пронзительно визжа, пилы прорезали всю его длину, чуть меняя голос на сучках. Каким-то образом сила эта переносилась на отца. Он один знал, что идет на доски, из чего делать, какой товарняк. В лесу он ходил, как среди своих, среди деревьев, делянок, в сплетении тропок, просек, лежневых дорог. Он был неутомим в ходьбе, мог шагать с утра до вечера мелкой своей неторопкой походкой.

Первые годы, беря сына с собой, он через час-другой оставлял его у близких смолокуров, лесорубов.

Особенно утомительно было хождение по железнодорожным путям. Дорог лесных не хватало, и в дальние лесосеки ходили, делая крюк, по шпалам железной дороги. Смоленые шпалы лежали неровно, сбивая шаг. Отца почему-то это не беспокоило, он шел себе и шел. Беда матери была в том, что она не видела мужа ни в лесу, ни в дороге, ни в работе. Там он был хорош, там его чтили, там им можно было любоваться.

Деревенская здоровая жизнь шла матери на пользу. Она расцветала с каждым годом. Чувствовала это, понимала свою наружность. А наружность ее все же была нездешняя: черты лица тонкие, волосы пышные, талия тоже не деревенская, крутая, да и вся ее походка; ее руки, хоть и загрубелые, но для другой, деликатной работы, пальцы длинные, гибкие. Более же всего выделяло ее умение красиво одеться что бы ни надела, обязательно не так, как все носят: то косыночкой украсит, то кружевом, и самая затрапезка на ней нарядна. Вкус сказывался. И никак ей было не смешаться, не раствориться в деревенской жизни. Отец рядом с ней – мужичок. Хотя он ростом не уступал, но как она встанет на каблучки, так кажется выше. Может, от его коренастости: плечи широкие, ноги чуть кривоватые, шея крепкая, носа было много, и загар постоянный от зимних ветров и морозов, от костров. Тело белое, а руки, шея, лицо – медные.

Имей они хозяйство, свою избу, свой огород, свою живность, даже без поля, все равно это втянуло бы ее в настоящую деревенскую жизнь. А так у служащего человека положение непрочное: сегодня здесь, завтра перекинут в другой леспромхоз, все время шла реорганизация, сокращение, сокращение происходило со времен революции постоянно. Главные приметы советской власти – очереди, лозунги и сокращение штатов.

Изда была казенной, огород тоже. И лошадь казенная. Своего немного: несколько книг, справочников по лесному хозяйству, сапоги, одежонка. Машинка швейная ручная для матери была куплена, и на ней шились первые костюмчики сыну. Машинка была богатством.

Жили весело. От того, что нить жизни легко рвалась в те годы, от этого спешили радоваться, гуляли крепко, бояться как следует еще не научились, поэтому гостей много было и сами в гости ходили.

На престольные праздники ездили из деревни в деревню, отца всюду зазывали, привечали. Вел от одного к другому. Всюду самогон, пироги, песни.

Отец на праздниках был при галстуке и пиджаке.

Д. помнит рубашки отца: серые, немаркие, с пристежными воротничками, и одну белую, выходную. Помнит золоченые запонки отцовские, бритву его, помазок, запах отцовского мыла. Прочно отпечатаны в памяти дощатые половицы, устланные полосатыми грубооткаными половиками.

Особенно хорош был субботний вечер, когда они с отцом возвращались из бани. Баня была в огороде, внизу у речки. Топили не «по-черному». Парились там крепко. Д. спасался внизу, подняться на полку не мог. Мужики наверху настигивали друг дружку, потом выбегали на улицу, раскаленные, пар от них шел, – и в речку. Страшно было видеть, когда зимой они бухались в снежный сугроб. После бани, с узелками, распаренные, причесанные, умиротворенные, поднимались к дому – и за стол. В доме было все прибрано, полы свежeweмыты, выскоблены, можно на таком субботнем полу лежать, играть, никто не скажет: «Встань, чего на грязном разлежся».

Отец любил тогда выпить, закусить. Что тянуло к нему людей? Может, добродушие. Скорее же всего уютность. Рядом с ним можно было расслабиться. Выпив, отец тоже расслаблялся, смеялся, шутил, а сильно захмелев, уходил спать. При мирном своем характере он был спорщик. Причем азартный.

Однажды, на Масленицу, он заспорил с кузнецом, кто больше съест блинов. Оба они чуть не погибли, не желая уступить.

Нормальное состояние детства – счастье. Огорчения, слезы и наказания – все быстро смывается счастьем. Ты беззащитен, поэтому тебя все любят, мир еще полон родных, полон открытий, удивлений и приключений.

Азарт спорщика Д., видимо, унаследовал.

На реке, где протекала летняя жизнь, зашел спор, кто дальше пронырнет. А чтобы точно замерить, решили нырять с гонок, то есть с плотов, и пробираться под ними, пока хватит воздуха. Так и сделали. Д., нырнув под бревно, решил не перебирать их руками, а поплыть, для этого загрести вниз. Поплыл, но, видно, там, внизу, поплыл не по прямой, потому что, когда почувствовал, что воздух кончается, стал выныривать, стукнулся головой о бревно, потерял ориентацию. Плывет, перебирает руками скользкие бревна, и никак они не кончаются. Темно, просвета нет, заметался он под бревнами, не выплыть ему, стучит в бревна, так ведь не достучишься, не раздвинуть их. Гонки стояли вдоль берега, перевязанные плот за плотом, длинные-предлинные. Гонщики себе шалаш на нем сладили, сидели там и услышали по ребячьим голосам что-то неладное. Вытащили Д., еле откачали, отлежался он на берегу, растерли его самогоном, но, главное, никто не сказал родителям, ни ребяшня, ни взрослые не выдали.

На спор многое делалось. Прыгали с сараев, ходили ночью в горелый дом. Самое же страшное было лечь под поезд между рельсов.

На железнодорожную ветку, где грузили платформы пиленным лесом, укладывали шпалы, доски, приходили паровозики, надрываясь, тащили платформы на разъезд, чтобы прицеплять к составу. Под этот паровозик с платформой и ложились. Как сцепщик уйдет, так нырк между колес и лежи. Под платформой не страшно, страх весь – от паровоза, когда он над тобой идет,

обдавая тебя жаром, дымом, запахом масла, грохотом огромных своих колес. Малышня этим довольствовалась те, кто постарше, лет восемь, те ложились на главный путь под большой состав. Отказаться было нельзя. Взрослые не представляют себе жестокость детских порядков и принуждений. Армейская принуда слабее детской. В армии тебя накажут, у детей тебя отлучат, что ужасней. Отлучат, презирают.

Надо было перед самым идущим поездом выскочить на дорогу и лечь руки по швам, машинист уже не мог затормозить, и весь состав пронёсся над тобой. Ложились под товарные поезда. Под пассажирские не принято было. Машинисты ругались. Пытались проучить, высыпали горячую золу, если успевали. Заводилой был Петька Хромой. Ему ступню перерезало при такой выходке, он ловко прыгал на одной ноге или хромал с костылем.

Был он сыном хозяина чайной. На чайной висела вывеска, где был нарисован самовар с бубликами. Петька верховодил по праву. Он сочинял игры, сочинял всевозможные истории. Проводил соревнования по прыжкам, по бегу, по бросанию камней в цель, целые олимпийские программы. Притом был диктатор. Награждал чемпионов баранками. Отец у него был красавец, могучий мужик, он клал жердину на плечи, как коромысло, вся ребячья повисала с обеих сторон на эту жердь, и он нес их по улице.

Их раскулачили первыми. Погрузили на телегу всю семью и увезли в район, а потом, говорят, выслали. Чайную сделали казенной, там сразу вместо чая стали подавать водку. Граммофон куда-то исчез, баранки тоже, а потом чайная сгорела.

Тот момент, когда их погрузили с узлами в телегу и все заплакали – мать Петькина кричала, билась, муж держал ее за руки, – запомнился крепко. Петька обошел друзей, каждому из мальчишек по-взрослому пожал руку, пожал и Д., сплюнул сквозь зубы.

Лицо остренькое, бледное, торчащие тускло-войлочные волосы, сам он худенький, вдруг вытянувшийся – это осталось в памяти Д. навсегда. На расспросы никто ничего Д. не объяснял. «Вырастешь – поймешь», – сказал отец. Это у Д. было первое столкновение с ликвидацией кулачества. Нормальное детство аполитично. Бедность и богатство в те годы никак не сказывались в ребячьей жизни.

На следующий год семья переехала в другой леспромхоз. Там были тоже лесозавод, лесная биржа, но не такая глушь. Жили на полустанке Кневицы, кажется, километрах в сорока от Старой Руссы. Возможно, на переезде настояла мать. Она все больше тяготилась сельским захолустьем. Ее тянуло в город. Каждый вечер, в восемь часов, заходя, она отправлялась на перрон к питерскому поезду. Приходил туда весь «высший свет» поселка: учитель, фельдшер, бухгалтер лесозавода, почтарь, являлись с женами, приодетые, особенно по воскресеньям, гуляли по высокой дощатой платформе, постукивая каблучками. Гармонист играл. Молодые пели. Выходил начальник разъезда в фуражке, милиционер в белой гимнастерке. Курили, общались, новости местные обсуждали. Нечто вроде клуба. Как позже на курорте старорусском, где ходили по галерее, попивая целебную водичку, здесь вместо водички лутили семечки подсолнечные, тыквенные. Иногда угощали друг друга монпансье из желтых круглых баночек.

Приближался поезд. Стоял он минуту. Редко кто приезжал или уезжал. Скидывали мешок с почтой, посылками. Пассажиры глядели на местных, те – на них. За зеркальными окнами вагонов стояли бутылки вина, кто-то лежа, с верхней полки лениво обегал глазами эту туземную публику, были вагоны мягкие, там висели бархатные занавески, люди смотрели оттуда безулыбчиво, строго. Короткий гудок, и поезд трогался. Глядели ему вслед, пока красные глазки последнего вагона не исчезали вдали. Расходились притихшие.

Почему-то думается, что эти поезда волновали мать. Звали ее куда-то. У Блока точно схвачена эта тоска полустанков:

Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.

Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.

Три ярких глаза набегающих —
Нежней румянец, круче локонов:
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальной из окон...

Мотив проходящего мимо поезда повторялся у многих русских писателей. Можно вспомнить Катюшу Маслову, как, стоя на той же платформе маленькой станции, видит в окне освещенного купе Нехлюдова в бархатном кресле.

Когда Д. впервые прочел Блока «Под насыпью...», ему сразу привиделись их разъезд и мать. Не разобрать было, что она говорила. Лицо ее белело смутно. Унесенное временем, оно глухо напоминало о том, что было еще что-то важное...

Вспоминая, что-то и присочинишь, иногда удается извлечь из-под слоев позднейших красок подлинник, он оказывается куда невзрачнее...

Переезд в Старую Руссу не принес отцу никаких льгот. Вообще стоит заметить, что вся трудовая деятельность отца ознаменована не повышениями по службе, а перемещениями. Повышений не было. Ступенек не было. Была смена лесов: леса нарвские, кингисеппские, псковские, новгородские, затем сибирские.

Из Старой Руссы отцу приходилось мотаться в леспромхозы поездами, а затем на попутках. Д. уже не мог сопровождать его по лесным делам. Старая Русса из русских уездных городов — звезда первой величины. Город старинный, старше Новгорода, и курорт там замечательный, да и просто красивый, культурный город. Там поселился Ф.М. Достоевский в последние годы своей жизни. Нравилось ему здесь. Город и впрямь был хорош. Прежде всего — курортный парк, рядом с которым получил отец квартиру. Парк был огорожен, поскольку посещение было платное. Но всякая ограда имеет дырки. Д. со своей компанией постоянно болтался в парке. Больше всего их привлекала купальня. Тоже закрытая, исключительно для курортников. Купальня была выгорожена на озере. Вода в озере соленая-пресоленая, считалась она целебной, минеральная. Такой концентрации соли Д. нигде в России больше не встречал. Лежать, покоиться, не шевелясь, без всякой возможности утонуть было забавно. Нырнуть и то трудно, так выталкивает зеленоватый теплый рассольник. Совсем как на Мертвом море.

Плывать его научил отец. Бросил с крутого берега в реку, и вся недолга. Напугал, Д., крича, барахтался в ужасе, захлебываясь, но вдруг ощутил, что держится на воде. Ужаса было не так много, больше крика. Отец в трусах, смеясь, стоял на берегу, а отец плавал хорошо и саженьками, и лягушкой. Несколько раз он учил сына, показывал, поддерживал рукой — бесполезно. Бросил, и все само получилось. С той минуты началась водная жизнь Д., которая пошла рядом с земной, пешеходной, сидячей жизнью. Реки, речонки, озёра, моря, заливы, океаны, зимой — бассейны, и всегда это была радость.

Пожалуй, ничто не доставило ему в сумме столько счастья, как водная стихия. И в минуты этого блаженного слияния тела с телом озер и рек всегда охватывала благодарность отцу. Учите детей плавать, своих детей, чужих детей. Это самое прочное, надежное помещение вашего, если позволено выразиться, благодеяния. Всегда помнят того, кто научил плавать, ездить на велосипеде, играть в шахматы, так же как помнят первых учителей.

Полноту жизни Д. ощущал почему-то на воде. Точнее, в воде. Особое чувство вызывало море, его волны вступали сразу в отношения с пловцом, с ними надо ладить, считаться с их настроением. До какой-то поры с ними можно было затевать игры. Он бежал на них, подныривал, бегал от них. В ту пору не было серфинга, но и без него можно было качаться в набегающей волне, скатываться с нее...

Вода – это еще и пляжная жизнь. В юности и позже прогулки между лежащими женщинами; они рассматривают тебя, а ты – их. Знакомства, интересные тем, что ты познакомишься с натуральной женщиной, а потом у выхода с пляжа появляется совсем иная – одетая, накрашенная. Преображенная платьем, которое уже говорило о вкусе, о деньгах, укрыв жизнь тела, создание природы.

Вода детства – всегда до озноба, до дрожи и синевы, потому что вылезти так же неохота, как неохота идти спать.

Еще отец научил его играть в шахматы, научил затачивать ножи, бритву, научил бесшумно ходить по лесу, запоминать дорогу, познакомил с лесной жизнью, следами на земле, породами деревьев, кустов, попозже хотел научить играть в преферанс, еще каким-то картам, но у Д. к картам интереса не было, существовало даже инстинктивное отторжение. Откуда оно взялось? Законы наследственности не всегда так арифметически просты, изящны, как это когда-то открылось Георгу Менделю, наблюдателю гороховой жизни. Почему иногда из поколения в поколение наследуется любовь к гречневой каше так же, как форма носа и глаз, а иногда вылезает такой носище, черт его знает, где он хранился, в каком колене предков.

Однажды отец взял Д. с собой в поездку на железнодорожной дрезине. Ехали на ней вручную, то есть «качали» рычаг, и платформочка эта катилась по рельсам. Быстро, куда быстрее, чем пешком. Хорошо на дрезине, ветер в лицо пахучий, земляничный, потому что на откосах насыпи самое раздолье земляничное. На дрезине доехали до следующей станции, чтобы не ждать поезда четыре часа, загнали ее на ветку и по ветке еще отмахали километров пять. Там пересели на телегу, на телеге трюхали долго, но тоже весело, особенно через деревню ехать; Д. дают править, и еще у него есть обязанность открывать и закрывать ворота на деревенской околице. Ворота жердяные, они лубяным кольцом закрываются или щеколдой. По ребячьей нетерпелке важно открыть, вскочить на телегу, а закрыть не обязательно – никого нет кругом – но отец строго соблюдал уважительное правило и при выезде. Добрались они до деревни, где когда-то жили, Д. узнал высокий зеленый дом, Петькину чайную, теперь там была кооперативная столовка, торговали больше водкой стаканами и пивом, закусывали моченым горохом, селедкой с хлебом. Кругом чайной стало грязно, забор сломали, палисадник зарос крапивой.

Так у Д. появилось первое сожаление о прошлом, назад он ехал грустный, даже когда давали ему качать дрезину, это не радовало. Неосознанно ощутил он порчу времени.

На пне свежеспиленной сосны, отец называл ее кондовой, среди годовых колец химическим карандашом отец пометил год своего рождения, год рождения матери и, наконец, наружное кольцо появления на свет Д. «Видишь, твое самое большое», – сказал отец. Что это означало, не пояснил, он иногда бросал фразы, словно неоконченные. Д. понравилась наглядность этой картины: кольцо за кольцом на желто-красной древесине, с блестящими каплями смолы, кружок отца – тогда сосна была еще тоненькой, никак это не вязалось с возрастом отца, с его кряжистой фигурой, с его сединой, и то, что в материнский год сосна была уже крепкой, бревенчатой, все полагалось бы наоборот. Однажды, спустя годы, он поймал себя на том, что, надевая свитер, растягивает ворот так, как это делал отец, тем же жестом, и подумал, что в нем живет много отцовского, вдруг вспомнил тот пень и слова отца. Большое свое кольцо, а внутри него отцовское и второе, мамино. Они оба спрятаны в нем, они оба составляют его нынешнего, их не вынуть, не отделить.

Он так стремился скорее расти, стать взрослым, чтобы всё мочь, быть полноправным, и тут оказалось, что впереди, во Времени, расположено не только хорошее, но и плохое, увидел это наглядно на облупившемся, враз постаревшем Петькином доме, с которого сняли затейливую вывеску, где были нарисованы самовар, калач и баранки.

Когда-то он вспомнит и об этом, когда к нему прибежит его семилетняя дочь, плача, что не хочет расти. Страх будет в ее слезах, страх и надежда, что он, который все может, всемогу-

щий ее отец, может оставить ее в детстве, остановить время. Она не хотела взрослеть. Что-то ее там пугало. Несколько раз еще она обращалась к отцу с той же просьбой, пока не убедилась в его бессилии. И печально приняла свою участь. Он часто думал об этом, если – стареть, это страх естественный, сознательный, фаустовский, а то ведь расти не хочет, взрослеть, вот уже куда добралось, в самое раннее детство.

По вечерам в старорусском парке играл духовой оркестр. Оркестранты сидели в раковине, слушатели – на длинных белых скамейках. Играли марши, вальсы и что-то посерьезнее. Однажды он увидел, как с матерью разговаривает дирижер; длинные волосы его спускались на белый отложной воротничок, когда он дирижировал, он встряхивал головой, мотался во все стороны. Д. замечал, что оркестр на него не смотрит, играет, казалось бы, сам по себе, зачем он тут машет перед публикой, наверняка чтобы произвести впечатление. Дирижер брал мать за руку, прижимал к своей груди, уговаривал выступить, спеть. Несколько раз он приходил к ним домой, когда отец уезжал, давал Д. две тянучки в кульке. Всякий раз – две коричневые тянучки в большом бумажном кульке и бесцеремонно выталкивал его на улицу. Со своей компанией в один из музыкальных вечеров Д. спрятался у эстрады за кусты, и посередине игры из рогаток они стали обстреливать этого дирижера горохом.

Потом была другая диверсия. Раздобыли лимон и принялись есть его, кривясь от кислоты. Кто-то им посоветовал или откуда-то они узнали, но действительно, некоторые музыканты вынули изо рта мундштуки своих труб, такая слюна у них пошла, глядя на мальчишечьи гримасы.

Несколько раз мать гуляла с дирижером под руку по большому курортному кругу мимо Муравьевского фонтана, и Д. видел, как ей нравится блистать в его обществе, поскольку дирижер был героем сезона у местных дам. Однажды ее уговорили, и она спела под гитару, но не с эстрады, а на террасе санатория. Пела она те же романсы, что напевала дома, но в полный голос. Для Д. это было в новинку. Матери аплодировали, вызывали на бис, и от этого ему казалось, что мать поет лучше, чем всегда. Белые колонны террасы, оранжевая гитара, мать в черном, шелковом, туго обтягивающем платье с глубоким вырезом и голубой ленточкой на шее.

Отец, узнав про дирижера, запретил ей выступать. Мать – ни в какую. Скандал был тихий, Д. уже лежал в кровати, они думали, что он спит. Слушал и отца, и мать, и не знал, чью сторону принять. Дирижер ему не нравился, не понравилось, как он держал мать за руку, но Д. вспоминал, как матери хлопали, концерт ей устроил этот дирижер, как она была счастлива в тот вечер, и понимал ее слезы. Слышно было, как отец упрекал ее за то, что она стесняется с ним ходить вечером в парк, и Д. переходил на сторону отца. Мать плакала, и Д. тоже плакал в подушку.

Спали в одной комнате. Ночью его разбудил их отчаянный шепот, они продолжали ссориться. И тут Д. услышал, как мать выговаривала отцу за какую-то женщину в деревне. Что там у отца с этой женщиной, Д. не понял, поэтому и запомнил, запоминалось все, что непонятно. Просил прощения, что ли, и, как тогда определил Д. на своем языке, – подлизывался. Мать держалась непримиримо. Что-то творилось в темноте странное, впервые отец вел себя униженно. Было жалко его. Все, что происходило той летней ночью, спрятано было в памяти на многие годы, вдруг после войны однажды он позволил себе приоткрыть то, давнее. Оно сохранилось нетронутым вплоть до запаха сенника, стрекота сверчка... Не было в живых уже ни отца, ни матери, сохранился их горячий шепот, все стало понятно и нестерпимо жаль обоих.

Отца перевели в Ленинград. Много позже мать как-то упомянула переулок рядом с французской церковью, где они поселились. Д. пошел туда, уверенный, что сам найдет их жилье. Долго он вглядывался в эти каменные многоэтажные дома. Ничего не возникало, начисто. Зато вспомнилось другое, одно из самых первых городских событий.

Была Женька, их домработница. Саму Женьку Д. не помнит, помнит лишь то, как она водила его в ближний сквер гулять, и там он пел какую-то нехитрую песенку тех времен, может, «Кирпичики», а может, «Маруся отравилась», при этом танцевал. Очевидно, Женька выучила его этому. Она ходила с ним по скверу, подводила к скоплению мамаш и детей, и Д. начинал там свое представление. Женька же обходила зрителей и собирала денежку в его шапочку. Д. свою роль выполнял с удовольствием. Женька тоже была довольна приработком. Номер пользовался успехом. Малыш, одетый вполне прилично, кажется, в матросский костюмчик – работал тонкий психологический расчет: мать, то есть Женька, она, значит, заботилась о дитяти, сама – в драном платье, а ребенок ухожен, подстрижен, умыт, и вот он своим ангельским голоском поет:

Пускай могила меня накажет
За то, что я тебя люблю.
Но я могилы не страшусь,
Кого люблю и с тем умру...

Слушатели хохотали и щедро награждали его.

Женька строго наказала Д. дома не рассказывать, за это она покупала ему мороженое. Восхитительное, белое или розовое, стиснутое двумя белыми вафельками, оно вылизывалось со всех сторон, а потом заедалось этими самыми кружочками. Мороженое послужило Женьке оправданием, когда ее антреприза случайно обнаружилась. Женька заявила: «А как же, надо „дитю полакомиться“, на него старалась».

От позора мать разрыдалась, назвала Женьку эксплуататором детей, Женька, в свою очередь, выдала ей про неблагодарность: может, дите мог артистом стать, а теперь неизвестно.

Более всего мать уязвило, что ее сына могли принять за нищего. На что Женька говорила что-то о пролетариате, так впоследствии домашние описывали их диспут. Но нас интересует другое, то, как Д. легко пошел на обман, как он слушал расспросы матери о прогулке и ответы Женьки. Даже если принимал это как условие игры, все равно привкус лжи сталкивался со вкусом мороженого, и мороженое побеждало. Правда всегда примитивна, ложь требует искусства, маленькая или большая ложь, неважно, размеры роли не играют, ложь нуждается в правдоподобию, увы, она не самостоятельна. Некоторые считают, что соврать легко, но утаить правду не значит создать настоящую ложь. Ложь, как сочинение, ей нужны детали, живописные подробности, качественная ложь требует вдохновения.

Когда пришли гости, мать рассказала историю с Женькой. Гостям, конечно, захотелось прослушать концертные номера в натуре. Поставили Д. на стул и попросили петь, Д. застеснялся – публика другая.

– Нет уж, давай, для Женьки – мог, а для нас – не хочешь? – сказали гости.

Надо бы заплакать, тогда б они отцепились, беда в том, что плакать он не любил. Пришлось петь снова «Над озером пляшут стрекозы», потом «Вот умру я, умру я». Так, как в сквере, не получалось. Там можно было плясать, махать руками. На стуле не покружишься. Еще там пелось весело, здесь почему-то веселья не получалось. Мороженое он не получил, денег матери тоже не кидали в шапку.

В те года музыканты и певцы ходили по дворам, играли на гитарах, флейтах, гармониях, реже с шарманкой. И конечно, пели. Не было микрофонов-усилителей, а слышимость почему-то была отличной. Питерские дворы имели такое свойство. Может, конечно, слух у населения не был подпорчен. Тоже вполне объяснимо, слух был на первобытном уровне. Например, Ленин с балкона дворца Кшесинской обращался к трудящимся с речью. Сегодня, даже ночью, когда трамваи не ходят, если стоять прямо под балконом, не много из его тезисов услышишь.

Непонятно, как удавалось ораторам своим натуральным голосом на улицах и площадях собирать толпы.

Окна распахивались, жилыцы ложились на подоконники, слушали. Вместо аплодисментов бросали музыкантам завернутые в газету медяки, гривенники. Если бросали щедро, концерт продолжался. Мать любила бродячих исполнителей, их дуэты, солистов, подпевала им.

Д. получил право пастись во дворе, мог вместе с малышами собирать летящую из окон мелочь, сверху кричали, заказывали «Мурку», «Цыпленка».

Двор соединял воедино огромную шестиэтажную домину с множеством парадных, черных подвалов, чердаков, дворников. Был старший дворник Мустафа и над ним управдом. Мустафа чтит отца Д. за его лесную жизнь и полезную профессию. Отец мог на глаз определить, сколько кубометров дров привезли на телеге, чего там навалено – липа, осина, вяз, ольха, рябина и всякой прочей породы. Супругу же Мустафа недолюбливал за несоответствие отцу.

Среди застиранных блузок, кацавеек, суконных юбок, серой невзрачности она выделялась своими сарафанами, голыми загорелыми плечами, платочками, из ситчика мастерила себе ежедневную праздничность. Не стесняясь, постукивала высокими каблучками, блестя шелковые чулочки, лакированная сумочка.

Часто во двор приходил старик-скрипач, девушка-подросток и с ними большая собака. Она смиренно сидела у ног скрипача, сторожила скрипичный футляр, куда кидали деньги.

Матери нравился их репертуар: городские романсы, любовные, трогательно-простые.

Однажды мать спустилась к ним во двор, поговорила о чем-то со стариком и, прихватив с собою Д., отправилась с ними в соседний двор.

Пели они дуэтом. Мать приобняла девушку, голос у матери зазвучал в полную силу, вырвался на простор, заполнил весь каменный колодец двора, дома она никогда так не пела.

Они посетили еще двор и еще, успех был большой, судя по тому, сколько им накидали. Старик уговаривал ее пойти с ними дальше, обещал половину выручки. Мать была счастлива, напелась вволю. По дороге домой, смеясь, сказала Д.:

– Это ты виноват. Ты пример подал.

После этой выходки у Д. появилась тревога, что мать сорвется и уйдет с певцами бродить по дворам.

Зачем, зачем вы слово дали,
Когда не можете любить.
Наверно, вы про то не знали,
Что я могу себя сгубить.

Пела она с таким чувством, что Д. считал, что все это про нее и про кого-то, кто обманывает ее и сгубит.

В романсах кто-то покидал ее, уезжал, она страдала от тоски, жгла в камине его письма, чахла и болела, мечтала о встрече. Правда, иногда этот «кто-то» предлагал ей какие-то сокровища, обещал любить вечно.

Ах, лучше б тебя не встречала
И не любила б тебя,
Сердце б мое не страдало,
И счастлива век я была.

Потом появился другой дом, огромный, куда они переехали, по-видимому, благодаря отцовскому начальнику. Очень ему нравился отец. Отец многих привлекал своей добротой, доверчивой приветливостью. К нему приходили не то чтобы посоветоваться, что он мог посо-

ветовать, скорее – выговориться. Он слушал, он умел слушать сочувственно, всей душой вникая в суть дела. Бывает, что это человеку нужнее, чем реальная помощь. Можно считать, что Д. унаследовал эту отцовскую черту.

Впоследствии Д. извлек из памяти какие-то мелочи, всплывали они случайно, то словечко, то жест знакомый, будоража что-то давнее, когда-то не понятое, постепенно возникало другое предположение: в получении этой роскошной квартиры была замешана и мать. Скажем мягче – свою роль сыграла и мать. Ибо этот начальник бывал на старой квартире, и все чаще. Он играл на гитаре, а мать пела. Квартира была большая. В то время эти барские квартиры в доходных домах государство реквизировало и раздавало разным организациям. Шесть комнат, из них одно зало. Комнаты большие, большая кухня с плитой, кладовка. Главные парадные комнаты окнами – на улицу, другие – во двор.

Прелестью был простор. По квартире можно было бегать, нестись во всю мочь по коридору. Вскоре приехала из Киева дочь отца, сводная сестра Д. Она поступила в медицинский институт, жила в общежитии, приходила в гости. С Д. они играли в зале в кегли. Катали по паркету шары, такой это был большой зал.

Кроме квартиры Д. обитал во дворе. Двор был с вонючей помойкой, с крысами, с развешанным бельем, местными пьяницами, чудиками, сплетнями. Двор был грязен, на него выходили черные ходы всех парадных подъездов. Двор жил с утра до вечера своей трудовой жизнью. Здесь кололи дрова, пилили, в прачечной стирали, кипятили, приезжали телеги разгружать помойку. Шла и нетрудовая жизнь – под вечер сидели на лавочках женщины, болтали. Игры тех лет, позабытые, ушедшие из жизни. Медные монеты были тяжелые, играли в «выбивку», Д. был мастером выбивать тяжелым медным пятак так, чтобы перевернуть монеты вверх гербом. Другая игра была «в стенку». Играли в «чижика». Но больше любили играть в подвижные игры, командные – в лапту, в игру, которая почему-то называлась «штандер!», в «казаки-разбойники».

Детвора дворовая имела свой неписанный устав или, вернее, кодекс поведения. Д. испытал на себе опасность прослыть маменькиным сынком. Их дразнили «Гогочка»: «Мальчик Гога, мальчик Гога, кашка манная готова!» Беспощадно относились к жадинам: «Жадиноговядина, пустая шоколадина». Или такое: «Плакса-вакса-гуталин, на носу – горячий блин!» Дело не столько в форме, убийственно было, как они произносились, задразнить могли до слез: «Командир полка – нос до потолка!», «Воображу первый сорт, куда едешь, на курорт!» Сколько их было, дворовых дразнилок! За матроску Д. сразу же выдали: «Моряк – с печки бряк!» Его то и дело ставили на место: «За нечаянно бьют отчаянно», «Мирись, мирись и больше не дерись».

Отучили жаловаться родителям, отучили жилить, научили драться по правилам.

Дом обследовали, облазили сверху донизу. Подвалы – где в клетушках хранилось немислимое барахло, дровишки, старая мебель, там бегали крысы, пахло гнилью. Страшнее было на чердаках. Там что-то копошилось, шепталось, там находили матрацы, на которых кто-то спал, мерцали в жидкой тьме зеленые кошачьи глаза. Висели веревки. Кипы старых дореволюционных журналов. Вот тут и начиналось пуганье, кто кого перепугает, самое место для засад, чтобы выкрикнуть диким криком, а еще лучше хлопнушкой из газет или трахнуть надутым бумажным кульком. Теплые кирпичные трубы сочились дымком. Закопченные балки – обнаженный скелет дома. Почти без перегородок открывалось огромное пространство над всеми квартирами, можно было вылезти на железную крышу. Кто-то на чердаке скрывался, это факт, валялись окурки, консервные банки: «Сейчас как режимом заножу, будешь дрыгами ногать и мотою головать!»

Дворовая школа обучала плевать сквозь зубы. Это у Д. получалось, у него была шербина между передними зубами, и плевков летел стрелой. Вот со свистом было хуже. Никак не мог научиться палым свистам. Пальцы в рот самый сильный свист производят. Ему и пальцы

в рот совали – не получалось. И вдруг однажды, летним днем, уже в деревне, вырвался у него оглушающе сильный свист, он был один в лесу, никто не слышал, свидетелей не было, он свистел и свистел, счастливый своей победой.

Не сразу школьное сообщество стало пересиливать дворовое. Преимуществом двора была свобода. Самоуправство, свой суд, свои порядки, без учителей, без школьных порядков. И еще, конечно, запретность. Можно было всласть ругаться. У кого-то завелись «финки». Рассказы про гопников, про шпану, про «чубаровское дело», как в Чубаровом переулке насиловали какую-то девицу. Дворовое образование включало бандитскую кличку, блатные песни, приемы борьбы, драки, похождения жуликов и, конечно, секс. Двор, к вашему сведению, служил академией запретного образования. То, что исключалось из школьных уроков, строжайше запрещалось, то можно было получить во дворе. В этом смысле «придворные» быстро наверстывали свои пробелы. Любовь, аборт, процесс изготовления детей, проститутки, любовницы, измены, венерические болезни, менструация, презервативы, онанизм – словом, «всё о сексе», о чем в семье не полагается «при детях».

Д. заработал авторитет, он выигрывал, когда из какого-либо ругательного слова составляли новые слова – у него получалось больше всех.

Говорило ли это о его любви к языку, о его лингвистических склонностях? Вряд ли. Заметьте, какое осторожное слово мы выбрали – склонности. Детство редко дает возможность угадать что-либо о будущем ребенка. Как ни пытаются папы и мамы высмотреть, что получится из их дитяти, нет, не оправдывается. Все они видят в детстве предисловие к взрослой жизни, подготовку. На самом же деле детство – самостоятельное царство, отдельная страна, независимая от взрослого будущего, от родительских планов, она, если угодно, и есть главная часть жизни, она основной возраст человека. Больше того, человек предназначен для детства, рожден для детства, к старости вспоминается более всего детство, поэтому можно сказать, что детство – это будущее взрослого человека.

Спасибо № 1

Странно и то, что я никогда не задумывался над этой странностью, считал ее забавным совпадением, не более, – любовь моя разгорелась в июне 1941 года, разразилась неким решением к 22 июня, в тот воскресный день, когда мы утречком поехали в Дудергоф, ушли в рощу погулять, выбрать себе укромное местечко. Намерения у меня были, как позже признавался, самые гнусные. В те яростные молодые годы я не пренебрегал никакими возможностями получить от женщины то, что она должна дать. Они сами употребляют эти словечки – «хочу», «дам», «не дам», «кому хочу – тому дам». До сих пор я имел дело с женщинами. Кто, когда лишал их девственности, я не знал, они мне доставались «распечатанными», более или менее опытными. Здесь же было другое. Совсем другое. Я чувствовал, что она девушка. На самом деле меня это больше пугало, чем радовало. В те времена нравственные правила еще не считали предрассудками. Как потом выяснилось, страхи одолевали меня сильнее, чем ее.

День был синий-пресиний, полный цветущей сирени, наступающей жары, пахучий день равноденствия, разгар белых ночей, кипящей крови. Отношения наши зашли далеко и приблизились к решающей черте. Переступить или отказаться. Чего я не собирался, да и она тоже. Она догадывалась о намерениях, я знал, что она догадывается, от этого мы много смеялись над собой. Смеясь, она закидывала голову, взмахивая челочкой темных волос, вскрикивала: «Ой, воды!» Ровные белые зубы ее призывно вспыхивали. Наслаждение смехом заставляло меня изошряться в остроумии. Мне хотелось завоевывать ее еще и еще. Наш роман длился уже месяца три, мне было этого мало. Среди ее кавалеров были солидные дяди. Был какой-то шишка, водил ее в ресторан, кормил паусной икрой, чем она хвалилась, поддразнивая меня. Был один старший сотрудник центральной лаборатории, разумеется талантливый, красавец. Найдя предлог, я заглянул в лабораторию посмотреть на соперника. Действительно, оказалось – славный мужик, выше меня, кудрявый, с доброй улыбкой. Римма не преувеличивала, врать она не умела начисто, она прямо-таки угнетала своей честностью.

В заводской библиотеке я взял американский журнал по электротехнике, сунул в карман куртки так, чтобы красочная обложка и заголовок торчали. Пусть видит, что я тоже не фуфрымухры. И в Дудергофе я куражился – перепрыгнул через широкую канаву, поставив рекорд, откуда появляются ловкость и сила, срабатывает древний инстинкт, к человеку возвращается прекрасное природное естество, дерутся олени, весною токуют в полном забвении глухари, поют без усталости свои серенады, дятлы отщелкивают-барабанят свои любовные призывы, не щадя головы, не только ради самок, это весна переполняет жизненными силами, самец себя показывает, себя утверждает, возвеличивает.

Счастливое единство с природой. Мы одной крови, мы тоже готовы петь, кататься по траве, драться.

Глухое зеленое местечко открылось перед нами, специально выстроенное лесным архитектором. Мы легли, и началась игра в касания, поцелуи, вновь касания. Ее белые ровные зубы, чистое дыхание казались мне частью налитой соками природы, как будто я целовал этот день, эту молодую прозрачную листву.

Потом я часто спрашивал себя: почему другие губы, другие тела, тоже красивые, молодые, не доставляли такого физического наслаждения?

Липа над нами ловила солнце в свою зеленую сеть, день обещал жару, счастье. Неожиданно раздались голоса, резкие, грубые, им откликнулись другие, слева, справа, окружая со всех сторон, быстро приближаясь. Я встал, увидел головы солдат в пилотках. Они надвигались цепью, останавливались, вкапывали какие-то знаки. К нам подошел младший лейтенант, один кубик в петлицах, сказал:

– Уходите, здесь сейчас нельзя.

– Что такое? – спросил я.

– Война, – коротко бросил он и куда-то побежал.

Более дурацкой причины, чтобы нас выставить, никто бы не придумал. Да и день не верил этому, он продолжался, распевая птичьим гомоном.

Мы шли, бежали, хохоча, держась за руки, и Римма была еще соблазнительней.

Возвращались под вечер. Поезд был переполнен. Мы стояли в тамбуре, прижатые друг к другу, радуясь этому. Кругом говорили про войну, бомбардировки. Война с кем – с немцами? Я удивлялся, не верил, но уже понимал, что это правда. Что означает эта правда, я не представлял, порывы общей тревоги наконец настигли нас.

Неизвестно, как бы развивался наш роман, возможно, он быстро истощился бы, как бывало у меня, молодость жаждала новых и новых влюбленностей.

С вокзала я поехал на завод. Надо было убедиться, осознать невероятность того, о чем говорили.

На заводе уже записывались в ополчение. К дверям парткома и комитета комсомола стояли очереди. Я тоже решил записаться: как же, война – и без меня.

Трудно понять, чего тут было больше – тщеславия, патриотизма, авантюренности. Войну-то я воспринимал не всерьез. Представился счастливый случай прогуляться по Германии, проучить фашистов.

Авантюренность моя проявлялась неожиданно, в причудливых формах. Как-то раз, узнав о приезде в Ленинград Юрия Олеша, я отправился к нему в гостиницу «Европейская». Зачем, для чего – я только что прочел его роман «Зависть», восхитился и решил высказать ему свое мнение. Уговорил своего приятеля Костю, и вот два студентика стучатся в номер Юрия Карловича. Ни цветов, ни торта в подарок, даже о предлоге приличном не позаботились. Олеша сидел с женой, пили чай. А может быть – вино, я не разобрался. С порога объявил о нашем читательском восторге. Небольшую речь я сочинил на лестнице. Юрий Олеша молча выслушал, ждал, что будет дальше, наверное, ему было интересно, как мы выпутаемся из паузы. Сделала это жена его, которая крикнула, чтобы он пригласил «мальчиков».

Дальнейшее не запомнилось: хозяин что-то рассказал про фильм, который должен сниматься по его сценарию, без интереса спросил, где мы учимся. Ничего не произнес, что бы потом я мог цитировать. Можно считать это посещение бездарным. Но нет, все же Юрий Олеша стал живым человеком, и я перечитывал его книги с нежностью – этот малорослый неловкий человек, а какая ловкость в обращении с фразой и как он умел читать чужие книги.

В ополчение меня не брали, я числился инженером в СКБ у Ж.Я. Котина, главного конструктора танков. Пожаловался в партком, в дирекцию, в комитет комсомола. Существовало много инспекций для жалоб. Через неделю мне удалось снять «броню». Меня зачислили в Первую дивизию народного ополчения, «1 ДНО». Я был счастлив. Чем?... Любовь должна была бы удерживать меня, роман только разгорался, работа над новым танком могла удовлетворить любой патриотический пыл.

На третий месяц войны я перестал понимать свое решение, свою настойчивость, хлопоты.

Правда, если присмотреться повнимательней, то можно увидеть, что в армию ушли почти все мои ребята – Вадим, Бен, Илья, Лёня. Ушли, впрочем, по мобилизации. Костя, как и я, имел броню в своем Радиоинституте и держался за нее обеими руками.

– Защищать грудью страну я не собираюсь, – говорил он.

– Это же образное выражение, нельзя понимать буквально.

– Винтовку тебе дали? То-то. Чем же ты будешь воевать?

Ничто не могло остановить меня, я предстал перед Риммой в гимнастерке б/у, синих диагональных галифе, тяжелых ботинках с обмотками, выглядел нелепо, а чувствовал себя гуса-

ром, кавалергардом. Если бы пистолет на пояс, но дали только противогаз и перед отправкой – бутылку с зажигательной смесью.

Главная тайна для меня состояла в том, почему она предпочла меня? Начиная инженер, из семьи бедной, отец в Сибири, мать, внешность – так себе, не поет, ни на чем не играет, не спортсмен, спрашивается – в чем секрет? Извечное стремление объяснить загадку любви.

То, что она девушка, было доказательством ее любви, во всяком случае, много значило. Девственность и у мужчин вызывает ни с чем не сравнимое чувство чистоты, во всяком случае, запомнилась та ночь. Мы перешли со скрипучей кровати на пол, в соседней комнате спала моя мать, сестра; проклятая слышимость мешала ликовать, вопить, рычать, не сдерживая себя, предаваться любви, как предаются животные. Но все равно, и сдерживание было приятно, и ночное небо с тревожным рыском прожекторов, и ветер из открытого окна. Начало любви, восходящая ветвь круто поднималась к звёздам, в бесконечность, казалось, так будет всегда.

Последние городские недели перед отправкой на фронт, формирование дивизии, тренировки в Шереметевском парке, карточки на продукты, бомбежки – все шло по касательной, мимо, не препятствуя, подгоняя наши отношения.

Неопытность была во всем – в войне, в любви, в карточках. Никто не запасался продуктами, никто не думал про эвакуацию. Всё же мы не витали в облаках, мы отправились в загс. Предложил я. Предложил не руку и сердце, а предложил зарегистрироваться. Чисто деловое предложение сделал. Это был сентябрь 1941 года, третий месяц войны, немцы подошли к Пушкину. Я знал, что у этого брака не было будущего, и у меня не было, к тому времени я убедился, что Германию одолеть не просто, и пехотинцу в этой войне уцелеть не светит. В тот первый год солдат проживал на переднем крае в среднем четыре дня. Будет у Риммы хоть память о юной ее первой любви к молодому солдату, иногда вздохнет, вспомнив, и тому подобная сладостная лирика.

Мне приятно было адресовать ей аттестат, грошовая сумма, но все же.

Загс на Чайковского был закрыт, ушли в бомбоубежище. В загс на Владимирском попал снаряд. Направились на площадь Стачек. Мы готовы были ходить из загса в загс, регистрироваться дважды, трижды, ждать на ступеньках... Наконец мы добились своего, она получила штамп в паспорте, в мою солдатскую книжку штампа не полагалось.

Город был без цветов. На Невском в кафе «Норд» за большие деньги нам подали пирожки с повидлом, кофе и по фужеру вина. Официантка, когда узнала, что мы отмечаем свадьбу, принесла нам по эклеру. Прочую полноту стола дополнила Римма, ее счастливости, ее глаза, смех. Достаточно было смотреть на нее. Для женщины свадебный акт значит много. Я просто любовался ею, шутил, требовал, чтобы она научилась делать блины и кулебяку.

Никаких планов совместной жизни мы не строили, я возвращался на фронт, она – на завод.

День был теплый, летнее голубое платьице, глубокий вырез, маленький золотой медальон лежал на загорелой груди. Еще – шелковая темно-синяя косынка или шарфик. Вдруг я сообщил, что она, кроме отца с матерью, единственная, кто сохранит какую-то память обо мне, через нее я на какое-то время останусь в этом мире. Она будет ждать, о ней можно скучать на передовой.

В ополчении мне сохранили инженерную зарплату. Одну половину я выписал аттестатом на родителей, другую – Римме, ей было приятно, что я узаконил ее.

В ту весну у меня еще продолжался роман с красоткой Зоей, мало того что она имела совершенную фигуру – тоненькая талия, крутые выпуклости, так она еще беззаветно трудилась над чертежами для моего дипломного проекта. Судя по тому, как она ловко, даже привычно организовала наши встречи у подружки, – она была старше меня на год, на два, выглядела

же девчушкой. Она с удовольствием приспосабливалась ко мне, ходила со мной на выставки, ездила на Острова, забавляла меня своими рассказами об их конструкторском бюро, рассказчицей была талантливой, с ней было весело, легко, увлекалась она фотографией, без конца снимала меня, себя, нас обоих, это, как она говорила, заменяет ей дневник.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.